

УДК141.32

Б.М. Лепешко

ФЕНОМЕН СТРАХА: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ

В статье рассматривается генезис категории страха, характеризуются сущностные черты данной дефиниции, показывается специфика данного социального чувства с точки зрения философского знания. Подчёркивается важность и своевременность обращения к экзистенциальным категориям в контексте развития современного социума. Доказывается, что страх выступает важным эвристическим средством, фактором самореализации личности, воплощением человеческого в человеке.

1

Является ли страх абсолютным социальным чувством, присущ ли он нам всем без исключения, есть ли страх сущностная черта человека и как биологического вида, и как социального существа? Положительный ответ на этот вопрос подразумевается, поскольку страх представляется той константой, которую легко обнаружить в поведении всех людей, в том числе и самых выдающихся. Греческие герои, например, казалось бы, не боялись ничего, в том числе и смерти. Однако страх был им присущ: в случае выбора, например, между гибелью и сохранением чести. Второе всегда оказывалось предпочтительным, и потому воинская доблесть и по отношению к себе подобным, и по отношению к богам вытесняла чувство страха. А вспомним Крона, который боялся своих детей и потому велел своей жене приносить к нему их и безжалостно проглатывал. Пятерых детей проглотил Крон, и только последнего, Зевса, спасла жена. Крон боялся, и справедливо: Зевс уничтожил отца и вернул к жизни братьев и сестёр. После этого наступила эра олимпийский богов, и уже Зевс решал, кому и чего бояться. Вообще, обращаясь к греческой мифологии, понимаешь: всё предопределено, в том числе и всеобщая взаимозависимость. Зевс всемогущ, но и ему закрывает глаза бог Гипнос, погружая в сон. Правда, это вовсе не означает того, что Зевс боялся этого ласкового малыша. Однако зависимость – одна из предпосылок страха. Ведь если, например, поразмышлять над страданиями Ио, любовницы Зевса, которую гнала законная супруга олимпийца Гера до самого Египта, то понимаешь: Зевс, видя страдания любимой, ничем не мог помочь ей. Боялась Ио, боялся Зевс. Таких примеров бесчисленное множество: нимфа Дафна как смерти боялась брака. Бог войны, неистовый Арес боится Афины Паллады, которая может направить удар какого-нибудь смертного грека и ранить самого бога. И тогда надо лететь к Зевсу и требовать возмездия. Сказанного достаточно для первого вывода: несмотря на «олимпизм», в числе признаков которого бессмертие, греческие боги столь же подвержены чувству страха, как и простые смертные.

И речь, конечно, не только о греческих героях. Чувством страха переполнены герои средневековья: боится Зигфрид, боится рыцари Круглого Стола, Нибелунги боится, а что уж тут говорить о героях Калевалы. Причём, знакомясь с эпосом этого периода, не покидает странное чувство: герои как будто нагнетают страсти, они ищут предмет страха, а тогда, когда страх рассеивается, они чувствуют непонятное томление, неудовлетворённость. Происходит некий «круговорот страха», когда все боится всех и потому находятся в постоянном катастрофическом движении. Когда-то об этом хорошо сказал Жак Ле Гофф, характеризуя период раннего средневековья. Он писал: в средние

века преобладало некое бегство. «Завоеватели – это беженцы, подгоняемые другими, более сильными, или более жестокими, чем они. Их собственная жестокость часто проистекала от отчаяния, особенно когда римляне отказывали им в убежище, коего они обычно миролюбиво испрашивали» [1, с. 15]. В результате гунны набросились на аланов, аланы – на готов, готы – на сарматов и т.д., причём все боялись и ненавидели всех. Средневековье вообще было временем великих страхов и великих покаяний, коллективных, индивидуальных, публичных, скрытых. Как свидетельствуют историки, люди, нёсшие камни для строительства храмов, периодически останавливались для публичной исповеди и бичевания. Чума провоцировала галлюцинирующие процессы. У голодных, полуодетых людей, которые боялись всего и всех, разум часто находился в подавленном, депрессивном состоянии. Отсюда видения, явления святых, дьявола и самого Бога. Преобладало чувство неуверенности, связанное с постоянной угрозой личной безопасности, неурожаями, войнами. В результате страх всегда преобладал над надеждой.

Однако страх античного человека и человека средневековья нельзя назвать тождественным, это страхи разного порядка и уровня. Страх Одиссея, который боится, что никогда не увидит ни Итаку, ни Пенелопу, тем не менее носит черты оптимистичности: вера, надежда преобладает над страхом. Средневековый человек находится в иной ситуации: страх подавляет и надежду, и веру. Но есть здесь и иное важное качественное различие: между средневековым человеком и Богом, дьяволом, святыми – пропасть, перейти которую он может лишь путём преодоления греховности собственной натуры и личной жертвенности. У античного человека бог – современник, с ним можно запросто поговорить, более того, с ним можно спорить и даже с ним бороться. Есть и иной парадокс: средневековый человек чувствует себя очень одиноким, но за ним стоит фактически всё христианство. Человек античности видит некий синклит богов, однако все они – каждый за себя, а потому спасение видится в личных действиях. Отсюда – разные социальные, психологические чувства, которые характеризуют эти два цивилизационные типа людей.

Эпоха рационализма и сенсуализма казалось бы исключила страх из числа приоритетных социальных констант. Критицизм распространяется и на понимание страха; если единственная вещь, которую трудно отрицать, это сомнение, то стоит выразить сомнение и в отношении страха. Разум обладает многими преимуществами, одно из них – возможность подавления таких деструктивных характеристик, как ужас, страх. Объяснить – значит исключить страх. И потому теоретики сомневаются, ищут новые методы познания, развивают индуктивный способ умствования и для них категория «страх» является понятием третьего порядка. Для человека нового времени страх «не математичен», «не верифицируем», а потому бессодержателен в эвристическом плане. Схоластика «отрицает» страх, но отрицает его и новый метод Декарта. В каком-то смысле привычные вертикальные связи средневековья заменяются горизонтальными связями. Если раньше люди двигались либо вверх, в царство вечного блаженства, либо вниз, в геенну огненную, то теперь у них появилась возможность ощутить жизнь как рациональное познание, как деятельность, как реализацию своих собственных возможностей, и страх в этом изменившемся континууме занял второстепенную позицию.

А теперь вернёмся немного назад, в эпоху, связанную с деятельностью и проповедью Иисуса Христа. Испытывал ли страх Иисус Христос?

2

Этот вопрос можно трансформировать: все ли человеческие чувства были присущи Сыну человеческому? Вопрос непростой. Вот, скажем, Сатана; ему присущи какие характеристики? Обычно называют следующие: честолюбивые желания, ревность,

зависть, злая воля, ненависть. Но ни один источник не утверждает, что Сатана чего-то боится. Вспомните булгаковского Воланда: страха нет. При всех логических доказательствах его личного существования. Христос тоже существовал лично, как утверждают библейские источники, но ему были присущи фактически все человеческие чувства, кроме греховности, греха. Он безгрешен. А как здесь со страхом?

Прежде чем мы попробуем ответить на этот вопрос, вспомним известные замечания Василия Розанова, высказанные в статье «Об Иисусе Сладчайшем», смысл которых сводился к тому, что христианство – религия смерти. Зачем Христос пришёл в мир? Да, исполнить волю Отца своего, да, искупить первородный грех, но ведь он пришёл умереть, но не жить. Вечная жизнь достигается путём прекращения жизни природной, физической, собственно человеческой. А это – слишком высокая цена для конкретного, «живого» человека. Но смерть предполагает соответствующий поведенческий антураж: в частности, Христос никогда не смеялся, все его иконописные изображения полны грусти. И понятно почему: страдание предопределило подобные оценки и изображения.

В работе «Христос есть путь» датский мыслитель Сёрен Кьеркегор, описывая земные страдания Христа, чаще всего использует понятие «стон». «Я пришёл, чтобы зажечь на земле огонь, но ничего мне бы так не хотелось, чтобы он уже горел. Ведь это же стон: как узок путь. Стон» [2, с. 374]. Или обращение Христа к Иуде: «Что делаешь – делай скорее». Это – тоже стон. Кьеркегор говорит, что парафраз последней встречи Христа с апостолами один: «Ну, скорей же». Так бывает, когда кому-то надо выполнить чудовищную задачу, и он боится, что ослабеет, боится, что задача может быть не выполнена, и поэтому всё тот же стон: скорее! Или последняя встреча: он взшёл на гору Елеонскую вместе с учениками, «И Сам отошёл от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! О, если бы Ты благоволил пронести чашу свою мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет» (Лк. 22, 42). Христос – богочеловек, и понятно, что если грех присущ Христу, то он присущ и Богу. Но, в таком случае (если прибегнуть к той же аналогии), если Христу присущи страдания, то они присущи и Богу? Обычно теологи решают эту проблему путём разделения божественного и человеческого: Христос – человек, но Бог таковым не является. Ведь если быть последовательным, то, если Христос Богочеловек, то и Бог является таковым. Здесь, конечно, есть вопросы к корректности первичной аналогии (в ситуации с рассмотрением греха). Но для нас важнее констатация, согласно которой Христу присущи все человеческие чувства, отсюда получается, что он испытывал и страх. Нравственная цельность личности Иисуса не имеет изъянов, однако человеческая (природная) его сущность является идентичной среднестатистическому человеку его эпохи.

Эрнест Ренан, анализируя в своей классической работе этот миг слабости Христа, полагает, что это вообще был единственный момент такого рода. Да, в последние дни перед казнью «страх, сомнения овладели им и повергли его в состояние слабости, которое хуже самой смерти» [3, с. 179], однако он быстро преодолел это чувство. Он мог избежать смерти, замечает в заключение Ренан, но не захотел. Заметим: спорное замечание. Он не мог избежать смерти по многим основаниям, среди которых на первом месте – предопределённость его пути, исходящая из божественного предопределения. Представим себе, что страх действительно победил его, и он отказался от предопределённого ему пути. Обесмысливается не только его появление в мире, обесмысливается само существование мира, если исходить из теистической традиции.

Теистическая традиция не акцентирует внимания на понятии «страх». Слабость секундная – да, но страх? Ведь появление богочеловека в мире как раз и связано с преодолением страха, прежде всего страха перед смертью. Жизнь – вечная, какой же может быть страх? Но жизнь полна страданий, жизнь противоречива, иногда грязна и тра-

гична, а потому страх может быть «здесь», но его не может быть «там». Булгаковский Пилат часто повторяет, что «трусость – главный порок», и трусость выступает синонимом страха. Пилат отдал бродячего проповедника той толпе, которая кричала: «Распни его!», и это решение терзало его всю жизнь. Страх не приветствуется, страх – синоним предательства, признак того, что человек не готов к поступку. К слову, если глас народа – глас божий, то как понять этот дикий крик – «Распни его!»? Как воплощение гласа божьего?

Юрисдикция страха заканчивается там, где начинается христианство, но это в идеале. Уже говорилось, что средневековое общество предпочло страх надежде. Средневековое общество жило в вечном страхе не потому, что страх принесло христианство. Как раз христианство принесло избавление от страха. Однако для того, чтобы понять это, понадобились духовный опыт, тысячелетия эволюции человечества. И жизнь святых церкви доказывает это: в этой жизни, как правило, не было страха. Могла быть скорбь, печаль, но не было страха. Франциск Ассизский проповедовал птичкам, и уже за эту проповедь Господь мог бы простить все грехи человечества – от Адама и до Апокалипсиса. Франциск Ассизский не боялся природы – как можно бояться того, частью чего ты сам являешься? Он не боялся голода, холода, болезней, потому что был уверен: всё это награда за жизнь и возможность исполнять свой долг перед Богом. Боязнь, страх вообще отсутствовали, и это было именно тем, за что мы благодарны христианству. Но если для Франциска Ассизского страх был неведом (во всяком случае, его биографы об этом ничего не говорят) то иная ситуация с жизнью, например, Сергия Радонежского. О нем пишут: «Сергия, без сомнения, ужасали образы, созданные его собственным воображением, ему приходилось бороться со страхом, вызванным различными бесовскими явлениями, кроме того, уже в действительности, а не только в воображении он должен был преодолевать физический страх, который на него наводил вой волков и рёв медведей, бродивших вокруг его хижины» [4, с. 91]. Но вот интересное признание: дикие звери вскоре стали для Сергия друзьями, и если Франциск проповедовал птицам, то Сергей – медведям. «Европа – Азия», скажет продвинутый начётчик, усмехнувшись этому сопоставлению.

Теперь же совершим мысленный скачок к идеям мыслителя, для которого страх не только в личном, но и в философском значении потребовал целой теории.

3

В 1844 году Сёрен Кьеркегор, издаёт ряд работ под разными псевдонимами. Среди них – «Понятие страха» Вигилиуса Хауфнёнсиса. Здесь собственно философские мотивы настолько тесно переплетаются с психологическими, что часто трудно определить, где изложение темы, а где её «практическая» демонстрация. Центральной категорией здесь выступает философия свободы; обоснованию, пониманию свободы мыслитель посвятил сотни страниц.

Он исходил из того, что свободу невозможно обосновать логически, ведь логика – синоним необходимости, а какая может быть необходимость применительно к свободе? Свободу может и должен истолковывать и психолог. Но что для нас принципиально: состояние, делающее свободу возможной, есть не что иное, как страх. «Посредством страха происходит прыжок из невинности в грех по отношению к самому себе, а также из вины в веру» [2, с. 167]. Вообще датскому мыслителю была свойственная мысль, согласно которой «страх провоцирует заблуждение». Комментатор трудов Кьеркегора, П. Роде, анализируя эти пассажи, замечает, что именно страх есть предпосылка греха, а не его следствие, как это можно было бы подумать. Это соответствует и тому, что говорил З. Фрейд в своей статье «О чувстве вины»: человек не по-

тому исполнен сознания вины, что грешит, но грешит, потому что исполнен сознания вины.

Но эта мысль – отражение метода мыслителя, в основе которого единичное, частное, а умозрительные спекуляции вообще бессмысленны, поскольку в центре не сами эти спекуляции (как, скажем, у Гегеля), а тот, кто их производит. А их производит рефлексивный, реально существующий индивид. Правда, надо учитывать, что этот самый рефлексивный субъект – во многом он сам, «гений в провинциальном городе» (имеется в виду Копенгаген).

Страх для Кьеркегора вовсе не синоним боязни или тревожно-боязливости существования. Страх – это и чувство, и обстоятельство, которое охватывает человека в ходе осознания нахождения этого человека внутри бытия, в окружении природных, социальных стихий. Страх – это в каком-то смысле символ осознания человеком самого себя. И это осознание, повторимся, вовсе не обязательно должно носить катастрофический характер. Скорее, страх у датского мыслителя связан с таким понятием, как беспокойство, страх символизирует открывающиеся горизонты познания и понимание человеком безбрежности этих горизонтов. Это, скорее, нечто томительное, беспокоящееся, нежели тревожное, боязливое.

Страх связан с бытием, отношением человека к бытию. Страх есть контрапункт, место пересечения природного и социального, духовного миров. Эта та точка, которая «вбирает» в себя понимание полифоничности мира. А что касается свободы, то она и есть действительность. Свобода не нуждается в рефлексии, поскольку она или есть, или её нет. Попутно заметим, что эти идеи были впоследствии интерпретированы многими мыслителями, причём несколько неожиданно. Скажем, Поль-Мишель Фуко, тяготясь возможностями свободы, полагал, что свобода столь же тяжела для личности, как и несвобода в любых её проявлениях, поскольку и одно, и другое – реальность.

Даже эти конспективные замечания демонстрирую ту глубину кьеркегоровских размышлений, в основе которых демонстрируется бессилие логики и философии перед сложнейшими проблемами бытия. Причём – что парадоксально – эта демонстрация осуществляется исключительно путём применения арсенала той же логики и философии. Для того чтобы убедиться в этом, обратимся к трудам одного из русских мыслителей.

Николай Бердяев, размышляя о специфике кьеркегоровского «страха», соглашается с датским мыслителем в принципиальных моментах. Однако полагает, что в иерархии чувств первое место занимает не «страх», а «тоска». В своей философской автобиографии («Самопознание») он пишет: «Нужно делать различие между тоской и страхом и скукой. Тоска направлена к высшему миру... Тоска обращена к трансцендентному... Страх и скука направлены не на высший, а на низший мир. Страх говорит об опасности, грозящий мне от низшего мира. Страх, всегда связанный с эмпирической опасностью, нужно отличать от ужаса, который связан не с эмпирической опасностью, а с трансцендентным, с тоской бытия и небытия» [5, с. 51–52].

В главном и Кьеркегор, и Бердяев согласны: страх не сводим к обычным тревожным ощущениям. Это чувство, выводящее человека за пределы коллективного сознания, индивидуализирующее его, позволяющее добиться важных эвристических результатов в процессе познания. Страх – это символ творчества, обеспокоенности личной судьбой и судьбой мира. Экзистенциальная философия вовсе не есть изобретение Кьеркегора; всегда существовали мыслители, которые «вкладывали в философию себя, то есть познающего как существующего» (Н. Бердяев). Заслуга автора «Или – или» состоит, главным образом, в том, что экзистенциальные искания, одним из контрапунктов которых было понятие страха, стали эпицентром «нового обожествления» человека, обожествления, в котором божественное становилось синонимом человеческого. Состояние подавленности, которое часто ассоциируется со страхом, должно быть удалено

на периферию интереса философа. Но тот страх, который пробуждает инициативу, интерес, провоцирует усилия личности по преодолению некомфортности существования, должен быть поставлен на подходящее место.

Причём страх не тождествен и ужасу. Скажем, «Достоевский – художник ужаса» [5, с. 51], «ужас драматичен, связан с вечностью». Ужас более глубок, нежели страх, если критерием глубины считать степень разорванности человеческого существования и невозможность «сшить» его доступными рационалистическими средствами.

4

А как с русской традицией? Первоначально обратимся к Николаю Гоголю. Перед нами том его переписки с друзьями, изданный в 1894 году. Его можно назвать по-разному, но одно из определений очевидно: это книга страха, ужаса, которые жили в душе писателя и прорывались наружу, когда сознательно, когда нет. И дело не только в том, что любой исследователь легко найдёт текстуальные подтверждения этого страха, этого ужаса. «Страшна душевная чернота», «Соотечественники, страшно!» – эти и многие иные похожие восклицания отражают реальный, чёрный, воющий ужас, который жил в душе великого поэта. «Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всём составе тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда, наконец, оканчивается день и доберёшься до постели. Часто, в душевном бессилии, восклицаешь: «Боже, где же, наконец, берег всего?» [6, с. 18].

Страх, ужас коренился не только в душе поэта. Точнее, источник страха – не только душа. Источник страха – действительность, культура. Приведём примечательное признание, цитату: «Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Кому, при взгляде на эти пустынные, доселе незаселённые, неприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому» [6, с. 90]. К этому стоит добавить, что контекст таким образом понятой тоски может быть существенно расширен до восточнославянского контекста. Действительно, многие народные, иные наши песни – это плач, тоска, страх, апофеоз бессилия и покорности судьбе. Достаточно послушать песни, которые отдельные собиратели белорусского фольклора выдают за единственное воплощение белорусской души. Если это действительно так, то хочется максимально отдалиться от таким образом понятой национальной души, поскольку она депрессивна, тосклива и безрадостна и угнетающе действует не только на современников. Чего ж удивляться тому, что следствием песен такого рода является пролонгация социального страха, социальной тоски, национальной депрессии.

Но страх, испуг у Гоголя может иметь и позитивные, конструктивные черты. Рассуждая в одном из писем, как читающая публика приняла его «Мёртвые души», Николай Васильевич замечает, что «русского человека испугала его ничтожность более, нежели все его пороки и недостатки». Но это замечательное явление, подчёркивает поэт, этот испуг, этот страх – «прекрасный». Его прекрасность заключается в том, что появляется «отвращение от ничтожного», появляется понимание сути ничтожного в человеке и вызываемое этим понимание прекрасного в человеке. Уныние и тоска в этом контексте не так плохи, как могло бы показаться на первый взгляд. Погружаясь в уныние, человек видит свою ничтожность, свою презренность, и тогда могут и должны появиться мысли о Боге. Более того, «прекрасность» страхов, ужасов писатель распространяет на всю Россию. В статье «Страхи и ужасы России» он утверждает, что тот страх, который имеет место в стране, благодворен, так как даёт возможность осознать глубину социального, личного падения и найти какой-то выход из него. «Что же каса-

ется до страхов и ужасов в России, то они не без пользы: посреди их многие воспитались таким воспитаньем, которого не дадут никакие школы». Именно пережитые ужасы дают шанс реализовать себя, причём реализовать так, что «Европа придёт к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках» [6, с. 158]. Стоит разве что пожалеть сегодня: это пророчество великого поэта не сбылось, и приходят к нам по-прежнему «за пенькой и салом». Страх, ужас, которых было в избытке, так и не помогли.

Страх – неизученная категория в творчестве Гоголя. Это можно утверждать достаточно смело, поскольку до сих пор нет исследования, в той или иной степени обрабатывающего наше внимание на этот феномен. А ведь, если задуматься, страх сопровождает писателя всю его жизнь. Страх людей вообще и женщин в частности. Страх, что не поймут, и горькое удовлетворение, возникающее тогда, когда действительно не понимали. Страх смерти, ужас возможного сумасшествия и одиночества, столь зримо продемонстрированный в «Записках сумасшедшего», и реальная кончина, своим запредельным катастрофизмом не дающая спокойно даже читать воспоминания, свидетельства той поры. Страх быть заживо погребённым, страх умереть на чужбине, страх, что родина не поймёт тебя и что ты не понимаешь родину, словом, страхи, фобии сопровождали его всю жизнь, и всю жизнь он оправдывался, в том числе и в том, в чём не был виноват.

Страх был – в каком-то смысле – визитной карточкой писателя; мало того страх способствовал развитию его творческих потенциалов, страх заставлял работать. И не потому, что «кушать будет нечего», этот фактор для Гоголя как раз второстепенен. Речь об ином: пропадёт страх – пропадёт и тайна творчества, оно станет невозможным в принципе. Но страх не только был фактором позитивным, – творчествообразующим, страх и уничтожал писателя, более того – уничтожил. И тогда, когда ночью, вместе с мальчиком-слугой он жёг свои рукописи, в огне, корчившись, «умирал» Костанжогло, была отдана очередная дань страху, и что удивляться, что вскоре после этого пришла и физическая смерть. Страх – каннибал, поскольку уничтожал и человека.

Однако теоретически «диалектику страха» в русской интеллектуальной традиции впервые исследовал не Гоголь, а Лев Шестов. В «Апофеозе беспочвенности», в частности, он аргументирует «апологию страха». Трусость, страх – это не порок, это, вполне возможно, добродетель. Возьмите Достоевского, пишет Шестов, вспомните Гамлета. «Если бы подпольный человек ничего не боялся, если бы Гамлет по своей природе был гладиатором, у нас бы до сих пор не было бы ни трагической поэзии, ни философии» [7, с. 63]. А страх смерти, который всегда был вдохновителем философов и поэтов? Ситуация, когда «отсечён» страх, бесперспективна, так как отсекается не просто одна из важнейших личных, социальных реакций (функций). Дело в ином: страх провоцирует знание, провоцирует творчество, поскольку обнажает проблему, обнажает душу человека, делает её беззащитной. Ужас перед смертью присущ всем живым существам, но можем ли мы утверждать, что речь идёт исключительно об инстинкте самосохранения? Очевидно, нет, полагает русский мыслитель и добавляет: «ужас имеет ещё какой-нибудь смысл», «он нужен и целесообразен» [7, с. 80]. Какой именно смысл, в чём именно целесообразность – ответа нет. Возможно, речь идёт о том, что страх служит тем фактором, благодаря которому растёт душа? Вот Шестов вспоминает «Выбранные места из переписки с друзьями», к которым мы обращались выше. Боялся ли Гоголь ада и чертей? Конечно, боялся. Но замечательное замечание: «нельзя стыдиться страха перед адом и чертями», поскольку страх – поднимает, но не унижает. Страх – человеческое качество и потому не может подвергаться моральной кастрации или философской вивисекции. Кстати, нельзя ли утверждать, что страх жизни – основа для многих вариантов морализаторства?

5

Ушёл ли страх как мироощущение, как философия, как первенствующее социальное качество после глобальных катастроф XX века? Конечно, и мы это видели: страх – вовсе не дитя XX века. Однако именно в этом веке ему придали форму, вид доктрины, теории, он стал предметом философских спекуляций и оправданием тех катастроф, которые были созданы людьми и от которых они же, люди, бедственно терпели. Что-то принципиально изменилось, и, те же ужасы, которые живописал Фёдор Достоевский, и тот страх, который искусно препарировал «единица» Кьеркегор, сегодня находятся от нас в теоретическом и духовном удалении? Вот Николай Бердяев: для него страх – воплощение творчества и свободы, точнее, одно из средств, один из путей воплощения творчества и свободы. Это личный опыт Бердяева или та закономерность, которая должна сохраняться в духовном опыте человечества постоянно?

Современный человек, прошедший две мировые войны, переживший угрозу ядерного уничтожения, достигший понимания невозможности коллективного жизнестроительства и разочаровавшийся в индивидуальном миропостроении, он, этот человек, готов разочароваться и в страхе. Если разочарование – новый атрибут мышления, то почему страх должен находиться вне его компетенции? Это всё так, и человеческое измерение страха, в основе которого тревожные ожидания, здесь не при чём. И Кьеркегор, и Бердяев, возражавшие против такого подхода, были правы. Поэтому страх остался, но остался в новом качестве, и суть этого качества выразить достаточно сложно.

Возможно, речь идёт о том, что страх прежде всего надо связывать вовсе не с индивидуальным (личностью), вовсе не со свободой и творчеством. Даже не с поисками и утверждением Бога. Страх – это понимание остроты личного переживания и уверенность в том, что это переживание будет оптимистичным по сути. Потому что пессимизм чреват ужасом. Страх фиксирует катастрофизм происходящего, но это полдела, это четверть дела. Поскольку главное заключается в мобилизации тех сил, о которых человек может и не подозревать. Да, мы можем говорить о «слепом страхе», который покоряет личность, давит его и уничтожает. Наверное, такие варианты возможны. Но для нас важнее иное: понимание выхода человека за пределы страха, потому что выход за эти пределы будет означать, что налицо новое качество и жизни, и поведения.

Более того: разве современный человек решил те задачи, о которых говорили классики экзистенциализма? Разве достигнуты те рубежи понимания проблемы, за которыми и сама проблема перетекает в некую новую сущность? Полагаю, что нет. Иногда говорят, что «экзистенциализм умер», значит, умерли и те проблемы, которые были поставлены его классиками. Теория, концепция может уйти, умереть, здесь нет ничего странного. Но как быть со страхом и его возможностями? Как быть со свободой? Что, те же тоталитарные идеологии умерли навсегда? Что, пресловутая соборность не может превратиться в практический кошмар, имеющий все атрибуты новой государственности? Что, творчество переродилось в инновации и это новообразование уже не требует руки хирурга? Ненужные вопросы, неверные вопросы, за которыми констатация того, что изменилось в мире мало и, главное, мало изменился сам человек, его социальная практика.

Конечно, страх сегодня мимикрирует, превращается в некие фантазмы, многие готовы трансформировать привычный, добрый, классический страх в нечто, существующее в иных мирах, на других планетах, и мистические откровения занимают место страха. Более того, страх превратили в средство экзальтации. Это и средство наживы, даже работа, основанная на том, чтобы «сделать человеку страшно». Эта деятельность стала профессией – небывалый ранее случай. Страхом могут щекотать, да и люди гото-

вы предаться этому новому испытанию. Исключительно потому, что свежести чувств не хватает, что острые ощущения достигаются именно таким, невиданным ранее способом. Страх становится не естественным, а неким новообразованием. «Искусственный страх» – до этого ни Кьеркегор, ни Бердяев, конечно, додуматься не смогли.

Каких только страхов не было, каких классификаций не придумывали. Вот З. Фрейд, классик жанра: есть так называемый «свободный страх» и просто «страх». Первое – это беспредметный страх, страх, «не знающий» вызывающего его объекта, синонимами здесь выступают такие термины, как «тревога», «тревожность». Собственно страх – это аффективное состояние ожидания какой-либо опасности. Но есть ещё и фобия – непреодолимый навязчивый страх перед каким-либо предметом или явлением. А как быть с искусственным страхом? И разве только с такой его формой? Нынешнее общество предлагает и виртуальный страх. Ты сидишь перед компьютером, погружаешься в виртуальные миры, и, казалось бы, должно быть страшно тому, кого убивают, насилуют, уничтожают в этих виртуальных мирах, но не тебе, игроку. Но странное дело: страх здесь же, но его суть вовсе не творчестве, вовсе не в раскрытии личных потенциалов, вовсе не в обнажении сущностных сил человека. Его суть – в сведении поведенческих, социальных функций к низменному, животному, к некоему фундаменту существования, от которого человечество, казалось бы, оторвалось достаточно давно.

Классиков экзистенциализма можно назвать великими идеалистами: они боролись за то, что сегодня ушло на периферию общественного интереса. Сегодня, если переиздать фундаментальные работы Кьеркегора и обратить на основные идеи внимание читателя, это вновь прозвучит откровением. Оказывается, человек – «единица», но никак не ноль, и не толпа. Оказывается, личные переживания, в том числе и страх, – предпосылка творчества, предпосылка вообще духовной состоятельности. Но какая может быть духовная состоятельность в обществе, которое отторгло эти идеи когда-то и трижды готово забыть их сегодня. Нынче – бал прагматизма, экономической состоятельности: от философов, историков, культурологов требуют не апофеоза единичного, а «процентов» и «валовых показателей». Новое человеческое (Ф. Ницше) ушло в сферу интересов новых духовников, скажем, психотерапевтов, объединившихся в «новый класс эксплуататоров», только эксплуататоров духовного. Если сегодня попробовать модернизировать Марксову классовую теорию применительно к такого рода реальностям, то окажется, что страты классифицируются по признаку не привычного экономического фактора, а фактора прагматичного – «надо – не надо». Старая дизъюнкция Сёрена Кьеркегора, «Или – или», получается безнадежно устарела, ей на смену пришло торжествующее «Надо – не надо». И всё же – не устарела. И всё же – страх нельзя перевести исключительно в виртуальную сферу, «опустить» его до состояния аффекта. Конечно, страх не некая панацея. Не универсальный способ творить или чувствовать себя свободным. Страх – это символ, и не исключительно тех потенциалов, которыми обладает человек.

Хотелось привлечь внимание к этому социальному чувству и потому, что люди всегда были и будут жить в страхе – не как дикари, боящиеся молний, но как индивиды, сумевшие поднять глаза к звёздному небу. Люди всегда будут культивировать страх: попробуйте представить себя абсолютно бесстрашными и вспомните, что чувством страха не наделён разве что Сатана. Страх для людей – этот тот резерв, из которого они могут и должны черпать новые возможности саморазвития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ле Гофф, Жак. Цивилизация средневекового запада / Ж. Ле Гофф. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 560 с.

2. П. Роде, Петер. Сёрен Кьеркегор / Петер П. Роде. – УРАЛ LTD, 1998. – 429 с.
3. Ренан, Э. Жизнь Иисуса. Апостолы / Э. Ренан – Минск : Беларусь, 1991. – 494 с.
4. Очерки по истории русской святости. Составил иеромонах Иоанн. – Брюссель : Жизнь с Богом, 1961. – 415 с.
5. Бердяев, Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии / Н.А. Бердяев – М. : Книга, 1991. – 446 с.
6. Сочинения Н.В. Гоголя. Издание 12. Том 5. Избранные места из переписки с друзьями. – СПб. : Издание А.Ф. Маркса, 1894. – 419 с.
7. Шестов, Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления – Л. : ЛГУ, 1991. – 214 с.

Lepeshko V.M. Phenomenon of Fear: the Existential Foreboding

The genesis of the category "fear" is considered in the article, also the essential features of this definition are characterized, showing specificity of the social sense from the standpoint of philosophical knowledge. The importance and timeliness of appeals to the existential categories in terms of development of modern society is emphasized. It is proved that fear is an important heuristic tool and a factor of self-realization and the embodiment of the humanity in man.

Рукапіс паступіў у рэдкалегію 29.03.2010